

Я уверен, что повсюду в мире, даже там, где правят режимы чуждые, противоположные советскому строю, есть люди — многие из них пока вынуждены жить и работать в подполье, — которые встретят 60-ю годовщину Октябрьской революции как праздник, как историческое событие в жизни всего человечества...

Что же касается Болгарии — народа и земли, к которым вы возвращаете вашим вопросом мои мысли... я встретил тут своих старых друзей, за это короткое время подружился — и никогда не забуду их — с новыми друзьями... Одни говорят по-испан-

ски, с другими я говорил по-французски или с помощью переводчика. Говорили на самые разные темы — о литературе, о мире... Я воскресил свою давнюю любовь к болгарской литературе, к тому, что я знаю из этой литературы в переводах на испанский или французский язык. К старым впечатлениям добавились новые: открытость и сердечное чувство товарищества, которым окружили меня болгарские писатели, да и не только меня, как я вижу — решительно всех гостей писательской встречи. И это тоже не переставало волновать, согревало душу...

### 3. ОПЫТ СОБСТВЕННЫЙ, ОПЫТ ОБЩИЙ

#### ВЗАИМНО, КАК ПОЦЕЛУЙ

Джон Чивер

США

**Д**ля меня было очень большой радостью и честью получить приглашение Союза писателей Болгарии приехать в Софию. Я очень люблю общаться с писателями и всегда рад, когда удается побеседовать с ними — будь то дома, в Америке, или в зарубежных поездках. Правда, у нас с условиями для такого общения дело обстоит неважно: у нас нет специальных клубов, кафе или союзов писателей — поэтому, чтобы побеседовать со своими коллегами, приходится отправляться в другие края.

Союз болгарских писателей выказал, на мой взгляд, немало смелости и изобретательности, собрав в Софию со всех концов света сто пятьдесят писателей, чтобы обсудить проблемы мира на земле.

Что может зависеть от писателя? Признаюсь, я не слишком искушен в политике, ведь я пишу романы, а такое занятие, по моему, едва ли оснащает человека тем, что необходимо для участия в политике. Не так-то просто бывает определить, какова та мера политической ответственности, которую вправе взять на себя романист.

Упрочению мира писатель, как мне представляется, может способствовать, укрепляя у своих читателей ощущение независимости, надежности, уверенности в себе. Вероятно, когда роман или рассказ по-настоящему удался, он дарит читателю чувство обновления, возрождает в нем мужество, вселяет в него чувство умиротворенности, чувство собственного достоинства. Это главное. В общем, если и есть такая социальная проблема, к которой я субъективно ощущаю свою кровную причастность, то это, конечно, проблема войны и мира. А в остальном, повторяю, меру социальной ответственности, которая ложится на литературу, определить, по моему, весьма и весьма нелегко. Другое дело — война, тут мы знаем твердо, как никто не знал до нас: война повлекла бы за собою гибель нашей планеты.

Моя страна никогда не была оккупиро-

вана, ее никогда не бомбили, в отличие от большинства европейских стран, она никогда не видела зверств на своей земле, так что, в известном смысле, — впрочем, не «в известном смысле», а просто по сути дела, — мы все не испытали на себе, что это значит, когда чудовищно жестокая сила войны обрушивается прямо на твой дом, на твою семью. И тем не менее для меня, как писателя, в социальном плане возможна, я уверен, лишь одна твердая позиция: и эта позиция — отвращение к войне.

...В Советский Союз я прилетел первый раз лет десять-одиннадцать тому назад и, кажется, не успел ступить на землю, как услышал с разных сторон: «Чивер!» Меня это просто потрясло — ничего подобного я в жизни не испытывал, а ведь я был уже не молод, мне было в то время за пятьдесят! Это было чувство любви, симпатии к себе, которые я всегда встречаю в России, ощущение доверия, теплоты. Пожалуй, это было моим первым впечатлением от России.

Мне очень понравились писатели, с которыми я беседовал, понравились встречные, с которыми довелось говорить на улице. Русские — в числе тех, кого я отношу к самым близким и дорогим своим друзьям.

Кого я знаю из советских писателей? Мой добрый старый друг — Евтушенко. Он пишет стихи, можно сказать, созданные для перевода и доступные читателям в самых разных уголках Земли. По моему, его книга «Яблоко», где он любовь сравнивает с ароматом украденных яблок, — просто превосходна... Андрей Вознесенский тоже мой близкий друг, на мой взгляд, это выдающийся поэт. Я хорошо знаком с Беллой Ахмадулиной, недавно мы с ней виделись в Соединенных Штатах. Я радуюсь каждой встрече с такими русскими писателями, как Аксенов, Симонов, Юрий Казаков, — правда, когда я последний раз был в России, его мне, к сожалению, не удалось

увидеть. Вашу литературу я нахожу полной жизненных сил, такой же растущей, как ваш народ.

Что бы я мог сказать в связи с вашим приближающимся юбилеем? Вот уже более полувека, как вы, русские, совершили революцию и сумели отстоять ее завоевания — я могу лишь поздравить вас с этим...

Вы спрашиваете, с какими мыслями я отправился в это путешествие. Конечно, они были связаны с тем, что я сейчас пишу: писатель, поэт всегда думает прежде всего о том, над чем работает. Я только закончил роман — всего полгода, если не меньше, как он вышел в Америке, и сейчас собираюсь сесть за новый... О чем он? Нет, пока я не поставил точку, не могу — не мог никогда — рассказать о книге. Вероятно, отчасти это суеверие — страх, что, если начнешь говорить, может не выйти, как задумано, во всяком случае, пока я над чем-то работал, никогда не мог говорить об этом... Сколько времени уходит на книгу? Видите ли, обычно я пишу роман за четыре года, а вот на этот, последний, не ушло даже одного. Жене и детям за это время пришлось набраться терпения — в домашней жизни я все это время почти не участвовал: зимою ходил на лыжах, летом плавал, а так весь год только сидел над книгой — и больше ничего. Ужасно, невероятно волновался, когда кончил ее: в Соединенных Штатах она пользуется огромным успехом, во всех странах собираются переводить. Конечно, меня это радует — и не из-за славы или денег, — радует сознание, что в разных концах света живут люди, которым важно услышать, что скажет им про свою жизнь, про мир, каким он его видит, серьезный и полный тревоги человек... Читатель, я убежден, не менее важен для писателя, чем писатель — для того, кто его читает. Мне кажется, что когда вещь удалась, тот и другой сливаются в ней, как в поцелуе...

Главный предмет, главное содержание написанного мною? Пожалуй, все мои книги — все рассказы и романы — прежде всего о некоем ощущении разобщенности и в то же время о духовной, а случается, что и о физической способности человека эту разобщенность преодолеть, торжествовать над нею победу. Думаю, что больше всего мне, быть может, удалось передать это в последнем романе, о котором я вам говорил: действие его происходит в тюрьме, из которой главный герой совершает побег на волю...

Вы спрашиваете о романе «Буллет-парк», который знают советские читатели, о том, что меня побудило его написать. Если говорить о побуждении, то с этой книгой дело обстояло так же, как с другими. Откуда-то приходит настоятельная потребность во что бы то ни стало рассказать безвестному читателю, — а у нас в Америке действительно совершенно не представляешь себе, что за люди твои читатели, — что ты знаешь и думаешь о жизни. Присутствует ли в романе доля автобиографического? Мне кажется, что в художественном произведении

элемент автобиографический играет роль, очень схожую с той, какую играет в сновидениях действительность. Вам снится, будто вы на корабле, которого никогда в жизни не видели, мимо проплывают неведомые берега, зато рядом стоит не кто иной, как ваша жена, и одеты вы тоже во все свое, привычное, — то ли подсознательное, то ли еще не познанное смешение воображаемого и подлинного...

Роман повествует о двух мужчинах, чьи имена сопряжены друг с другом, как, предположим, слово «молоток» со словом «гвоздь», и о любви одного из них к своему сыну. По замыслу этот роман — как, надеюсь, и все, что мне, в меру моих скромных возможностей, удалось написать, — призван воспеть силу любви. Кроме того, в нем рассказано, как второй из героев хочет убить юношу.

Завершение у книги самое библейское. Злодей повержен в тот самый миг, когда пытается сжечь отрока на церковном алтаре, а отец с сыном удаляются под заключительные слова романа «по счастью, по счастью, по счастью». Кстати, восприняты в моей стране они были как чистой воды ирония, хотя не скажу, чтобы я вложил в них одну лишь иронию. Согласен, не о безоблачном счастье я вел тут речь, и, однако, не все здесь ирония.

В моей стране — вернее, не в стране, конечно, а в английском языке — самое трудное, пожалуй, изъясняться в приподнятом стиле, говорить о возвышенном. Кажется, у меня это получилось в последнем романе, который завершают слова «возрадуемся, возрадуемся, возрадуемся», а не трижды повторенное «по счастью»...

Вы спрашиваете, что для меня самое трудное в работе? Видите ли, способность писать есть, как мне кажется, особое свойство мозга, своего рода творческая сила, присущая мозгу и еще не познанная. Писать — мое любимое занятие, я не задумываюсь над тем, трудно ли это. В моих глазах это один из видов полезной деятельности, та область, в которой я способен приносить наибольшую пользу.

Что я думаю о поиске в области формы? У нас в английском в ходу слово «novel», не знаю, какое соответствие находят ему в русском. В Европе всякий вид художественной прозы поныне именуют «romance». Естественно, что английское «novel» непременно предполагает нечто новое либо в смысле поисков новой формы, либо — что, надеюсь, окажется справедливым по отношению к моему новому роману — в смысле общей нешаблонности, несхожести с привычным.

И еще одно я хотел бы сказать вам в связи с тем, что вы коснулись вопроса о языке, попыток вдохнуть новый смысл в слова, стерты от частого употребления. В том-то, мне думается, и состоит, помимо всего прочего, подлинное величие литера-

СОФИЙСКИЙ  
ДНЕВНИК

туры, что она говорит на традиционном, общепринятом языке — о сердечной боли, например, точно теми же словами, какими пользуются, покупая билеты на самолет.

Ведь что мы, литераторы, в сущности, делаем? Ведем разговор, обращаем наши слова к другим мужчинам и женщинам, которых связывает с нами общность опыта, накопленного в течение поколений. Поэтому-то, мне кажется, и сумела литература столь удивительным образом войти в самую плоть повседневной жизни, что мы, в отличие от художников и музыкантов, не позволяем себе безоглядно поддаваться искушениям какой-нибудь диатонической гаммы или сюрреалистических приемов. Мы обязаны считаться с языковыми традициями. Ведь когда, все равно на каком языке, мы говорим поутру: «Здравствуйте!» — это нельзя назвать пожеланием, это скорее некая «заклинательная» формула, некий звук, которым чужие люди обмениваются при встрече, как бы просто в подтверждение того, что дышат одним воздухом, ступают по одной земле, делают друг с другом это утро и так далее. Эти «заклинательные» свойства языка я нахожу в высшей степени любопытными. Есть у нас в Соединенных Штатах писатели, которых особенно занимает эта языковая магия, писатели, которым кажется, что стоит лишь оседлать фразу — и она унесет нас за пределы того, что мы хотели сказать. Однако чрезмерное увлечение фразой подобно жонглированию, и тогда — прощай, книга! Так я думаю и на том стою. Умение строить фразу — основа основ для писателя, но я считаю, что фраза — не самоцель, ею нужно пользоваться к месту, а не ставить ее в литературе во главу угла. Такова, по крайней мере, моя нынешняя точка зрения. Фраза, как таковая, для меня — не венец творчества — не более, чем любопытная задачка...

Как на меня влияет время? Я лщу себя мыслью, что время прибавило мне зрелости, а впрочем, пожалуй, самому об этом судить трудно. Движение времени я ощущаю, главным образом вида, как растут мои дети. Растут деревья, подрастают дети, меняются места вокруг загородного дома, в котором я поселился лет двадцать пять тому назад, в котором прожил большую часть минувшие с той поры годы и в котором живу по сей день. Самого же себя я, по сути дела, не воспринимаю как составную в потоке времени, быть может, это как раз свидетельство моей незрелости? Я не воспринимаю себя как данность во временных пределах «от» и «до»...

Кто из писателей особенно дорог? Этот вопрос мне задают часто, и ответить на него я могу лишь одно: перечень писателей, которых я ценю — реже люблю, — включил бы в себя тысячу имен, и это самое малое... Кстати, неверно было бы, на мой взгляд, говорить, что кто-то добился успеха в литературе. Можно просто сказать, что кто-то внес в нее свой вклад, приумножил необъятное литературное наследие, созданное человеком с тех пор, как он появился на Земле. Но я все возвра-

щаюсь про себя к вашему вопросу о времени. Пожалуй, точнее всего сказать, что оно является мне в том же образе, что и Бергсону, — поток, который мчитя то тише, то быстрее, петляет, и не всегда заметишь его извивы простым глазом. Да, время мыслится мне потоком, быстротекущим потоком воды... Что же касается миссии писателя, она ясна: по мере сил бороться за то, чтобы из хаоса возникла гармония...

Что приносило огорчения, что радовало? Боль не оставляет четкой памяти в моем сознании — да и много ли найдется таких, с кем дело обстоит иначе. Если мне что-то причиняет острую боль, я склонен забыть об этом. Зато очень ясно помню моменты счастья! Иначе говоря, любая попытка воссоздать задним числом минуты боли или счастья приведет к существенным искажениям. И это опять возвращает нас с вами к тому же образу: поток, быстротекущие воды... А меня расковывает — я начинаю говорить свободно. Дело в том, что я американский писатель, но к тому же и уроженец Новой Англии. Мои родные места — северо-восток Соединенных Штатов, та часть Нового Света, на которой в XVII веке обосновались англичане, к той давней поре, как известно, восходит наша традиция — скупость на слова, немногословие, доходящее до формализма. Окончательно преодолеть это обыкновенно не удается, хотя как писатель я, конечно же, стремлюсь к этому. Я неизбежно говорю под диктовку своих хромосом, своих генов, а им чужда цветистость речи, свойственная выходцам из других краев моей огромной, моей бескрайней родины.

Скажу вам в заключение нашей беседы одну вещь, которая, как писателя, особенно поражает меня в моей стране. Пользуясь помощью компьютеров, у нас могут вычислить и выделить по заданному признаку какую угодно группу людей. Могут определить, кто покупает пиджаки и галстуки, кто и какую купит обувь, кто отдает предпочтение сыру, а кто — виски. Электронно-вычислительная машина сообщит вам о них все: сколько их, много ли у них денег, какие им по вкусу цвета и какие запахи. И одна лишь группа людей, сколько я знаю, совершенно не подвластна компьютеру — это читатели, те, кто проявляет серьезный интерес к литературе как наиболее острому или, во всяком случае, одному из наиболее острых и проникновенных средств выражения, интерес к тому, что несет им слово других мужчин и женщин, к тому, как они, эти другие, стремятся выразить свои сокровенные предствления о сущности любви, страха, смерти... Какого писателя оставит равнодушным сознание, что в его стране есть немалый отряд людей — у нас в Америке их, вероятно, около миллиона, — которых нехитрая весть о том, что вышла новая книга, появилась серьезная книга, в любую погоду погонит за нею в книжную лавку, и ни дождь, ни снег им не помеха! Эта группа не поддается четкому определению, никому не ведомо, кто такие эти люди, они

словно некая душа страны, большая и загадочная, и сознание, что они существуют, придает мне силы...

Самое сильное впечатление от этой конференции? Дружелюбие, во-первых — делегатов, во-вторых — болгарского народа.

Нас было здесь полтораста писателей, говоривших на разных языках, у каждого за плечами свои обычаи, свой образ жизни, свой народ с его особой историей. И помимо, все мы с очень большой пользой

и очень большим удовольствием общались друг с другом; были споры, но не было ссор, ни с чем, кроме — по крайней мере так показалось мне, — кроме дружелюбия и радости, мы здесь не сталкивались...

Мои впечатления о Болгарии, естественно, насквозь пронизаны обезоруживающим гостеприимством, которое оказали нам Союз писателей и простые люди этой страны. Единственное, на что я мог бы пожаловаться, — ну, разве что я прибавил в весе... (с м е е т с я).

## В СИСТЕМЕ ПАРАДОКСОВ

Гор Видал

США

**Д**ля меня самые важные проблемы сейчас не творческие, больше всего тревожит меня перенаселенность. В мире слишком много людей, слишком мало пищи, слишком мало энергии. Ни идеология Востока, ни идеология Запада, ни Севера, ни Юга — никто не знает, как эту проблему всерьез решить. Между тем надвигается ужасный кризис. Вполне возможно, что род людской прекратит свое существование из-за болезней, голода или случайной войны. Не исключено, что мы живем в последний период цивилизации, и эта мысль больше всего тревожит меня. Я выступаю перед телевизионными аудиториями в Америке, говорю с миллионами людей именно об этом, это моя главная тема, тема очень мрачная, но думать об этом необходимо.

Не вижу ли я хоть сколько-нибудь конструктивных подходов к проблеме? — спрашиваете вы. Боюсь, не слишком ли поздно быть конструктивным, боюсь, что в результате перенаселенности планеты уже нанесен непоправимый ущерб. Как вы знаете, численность населения растет в геометрической прогрессии, а темпы роста сельского хозяйства — в арифметической. Таким образом, численность населения все удваивается и удваивается. Сейчас она составляет четыре миллиарда человек, а лет через двадцать достигнет восьми миллиардов. Если бы все мировые запасы продуктов питания были поровну и абсолютно честно распределены среди всего населения земного шара, калорий хватило бы, чтобы прокормить всех, но не хватило бы витаминов. Поэтому значительная часть человечества все равно погибла бы — из-за недостатка витаминов... Это мне кажется более тревожным, чем все остальное, о чем здесь шла речь.

Вас, судя по всему, шокирует то, что вы называете моей склонностью к парадоксам? Но в самом деле... Мне это действительно кажется более важным, чем все остальное. А мир — ведь вроде бы все за мир, особенно те, кто хочет обеспечить его путем войны (с м е е т с я). Таков парадокс. Гитлер обожал мир, но устроил невиданную бойню, чтобы установить мир по своему

образцу. Наполеон тоже вел войны, чтобы изменить мир по своему желанию. Мир — это нечто вроде флага, которым размахивает каждый, кому не лень. Ну вот и получается, что мир — факт и война — факт, и разве конфликт, собственно говоря, не извечное состояние человека? Смысл цивилизации состоит, видимо, в том, чтобы научиться управлять агрессивными устремлениями человека, его склонностью к соперничеству и использовать их в дарвиновском смысле слова — так сказать, в мирных целях, будь то игра или творческое состязание: кто лучший прозаик — я или Фолкнер, кто лучший поэт — Евтушенко или Оден... [В этом месте я напоминаю Гору Видалу о том, что некоторые его соотечественники убедительно возражают против теории врожденной агрессивности, которые он отстаивает. — Е. С.] Я принимаю к сведению ваше несогласие с этой концепцией, знаю, что и в журнале вы с ней систематически полемизируете. Но ведь в самом деле, если бы не соперничество между нашими двумя странами, разве вы или мы вышли бы когда-нибудь в космос? Таким образом, в этом соперничестве есть определенная творческая сторона, верно? Самое главное, чтобы, продолжая соперничать в космосе, мы не уничтожили бы друг друга здесь, на земле. А так вообще-то соперничество, состязание — одно из средств сублимации агрессивных побуждений, а они заложены во всех нас. Когда они выходят из-под контроля, начинается война. И неразумные общества — а я думаю, что большинство обществ в мире весьма неразумно, — при усилении напряженности не прочь взглянуть на войну как на выход из трудного положения. В Соединенных Штатах, а я уверен, что это относится и к другим странам, всегда, когда возникает кризис внутри страны, начинают говорить об опасности извне. Чтобы люди не подумали, что внутри их общества что-то неладно, говорят о проблемах, существующих вне его. Мы называем это «трансфе-

СОФИЙСКИЙ  
ДНЕВНИК